

Константин Паустовский

Литературные портреты

Оскар Уайльд

В ноябре 1895 года в Реддингскую каторжную тюрьму был доставлен из Лондона в ручных кандалах знаменитый английский писатель Оскар Уайльд. Он был приговорен к нескольким годам заключения за «нарушение нравственности».

На вокзале в Реддинге вокруг Уайльда собралась толпа любопытных. Писатель, одетый в полосатую арестантскую куртку, стоял под холодным дождем, окруженный стражей, и плакал впервые в жизни. Толпа хохотала.

До тех пор Уайльд никогда не знал слез и страдания. До тех пор он был блестящим лондонским денди, бездельником и гениальным говоруном. Он выходил гулять на Пикадилли с цветком подсолнечника в петлице. Весь аристократический Лондон подражал Уайльду. Он одевался так, как Уайльд, повторял его остроты, скупал, подобно Уайльду, драгоценные камни и надменно смотрел на мир из-под полуприкрытых век, почти так, как Уайльд.

Уайльд не хотел замечать социальной несправедливости, которой так богата Англия. При

каждом столкновении с ней он старался заглушить свою совесть ловкими парадоксами и убегал к своим книгам, стихам, зрелищу драгоценных картин и камней.

Он любил все искусственное. Оранжереи были ему милее лесов, духи милее запаха осенней земли. Он недолго любил природу. Она казалась ему грубой и утомительной. Он играл с жизнью, как с игрушкой. Все, даже острая человеческая мысль, существовало для него как повод для наслаждения.

В Лондоне около дома, где жил Уайльд, стоял нищий. Его лохмотья раздражали Уайльда. Он вызвал лучшего в Лондоне портного и заказал ему для нищего костюм из тонкой, дорогой ткани. Когда костюм был готов, Уайльд сам наметил мелом места, где должны быть прорехи. С тех пор под окнами Уайльда стоял старик в живописном и дорогом рубище. Нищий перестал оскорблять вкус Уайльда. «Даже бедность должна быть красивой».

Так жил Уайльд — надменный человек, погруженный в книги и созерцание прекрасных вещей. По вечерам он появлялся в клубах и салонах, и это были лучшие часы его жизни. Он преобразался. Его обрюзгшее лицо становилось молодым и бледнело.

Он говорил. Он рассказывал десятки сказок, легенд, печальных и веселых историй, пересыпал их неожиданными мыслями, блеском внезапных

сравнений, отступлениями в область редчайших знаний.

Он напоминал фокусника, вытаскивающего из рукава груды пестрой ткани. Он вытаскивал свои истории, расстилал их перед удивленными слушателями и никогда не повторялся. Уходя, он забывал о рассказанном. Он бросал свои рассказы в подарок первому встречному. Он предоставлял друзьям записывать все, что они слышали от него, сам же писал очень мало. Едва ли сотая часть его рассказов была записана им впоследствии. Уайльд был ленив и щедр.

«В истории всего человечества, — писал об Уайльде его биограф, никогда еще не было такого замечательного собеседника».

После суда все было кончено. Друзья отшатнулись от него, книги были сожжены, жена умерла от горя, дети были отняты, и нищета и страдание стали уделом этого человека и уже не покидали его до самой смерти.

В тюремной камере Уайльд, наконец, понял, что значит горе и социальная несправедливость. Раздавленный, опозоренный, он собрал последние силы и закричал о страдании, о справедливости и бросил этот крик, как кровавый плевок, в лицо предавшему его английскому обществу. Этот крик Уайльда назывался «Баллада Реддингской тюрьмы».

За год до этого он высокомерно удивлялся

людям, сочувствующим страданиям бедняков, тогда как, по его мнению, следовало сочувствовать только красоте и радости. Теперь он писал:

«Бедняки мудры. Они сострадательнее, ласковее, они чувствуют глубже, чем мы. Когда я выйду из тюрьмы, то если в домах богатых я не получу ничего — мне подадут бедные».

Год назад он говорил, что выше всего в жизни искусство и люди искусства. Теперь он думал иначе:

«Много прекрасных людей — рыбаков, пастухов, крестьян и рабочих ничего не знают об искусстве, и, несмотря на это, они — истинная соль земли».

Год назад он выказывал полное пренебрежение к природе. Даже цветы полевую гвоздику или ромашку, — прежде чем приколоть к петлице, он красил в зеленый цвет. Их естественный цвет казался ему слишком крикливым. Теперь он писал:

«Я чувствую стремление к простому, первобытному, к морю, которое для меня такая же мать, как земля».

В тюрьме он мучительно завидовал натуралисту Линнею, который упал на колени и заплакал от радости, когда впервые увидел обширные луга нагорья, желтые от дрока.

Нужна была каторга, нужно было смотреть в лицо смертника, видеть, как избивают

сумасшедших, месяцами, сдирая ногти, расщипывать по волокнам гнилые канаты, бессмысленно перетаскивать с места на место тяжелые камни, потерять друзей, потерять блестящее прошлое, чтобы понять, наконец, что общественный строй Англии «чудовищен и несправедлив», чтобы закончить свои записки такими словами:

«В обществе, как оно устроено теперь, нет места для меня. Но природа найдет для меня ущелье в горах, где смогу я укрыться, она осыплет ночь звездами, чтобы, не падая, мог я блуждать во мраке, и ветров завеет следы моих ног, чтобы никто не мог преследовать меня. В великих водах очистит меня природа и исцелит горькими травами».

В тюрьме Уайльд впервые в жизни узнал, что значит товарищество. «Никогда в жизни я не испытал столько ласки и не видел столько чуткости к своему горю, как в тюрьме со стороны товарищей — арестантов».

Из тюрьмы Уайльд вышел, окруженный преданной любовью всех, кому выпало на долю отбывать вместе с ним английскую королевскую каторгу.

После тюрьмы Уайльд написал две статьи, известные под названием «Письма о тюремной жизни». Эти статьи, пожалуй, стоят всего написанного Уайльдом раньше.

В одной статье он со сдержанной яростью пишет о страданиях маленьких детей, которых наравне со взрослыми сажают в английские тюрьмы, в другой — о дикости тюремных нравов.

Эти статьи ставят Уайльда в ряды лучших людей. Уайльд впервые выступил как обличитель.

Одна из статей написана как будто по незначительному поводу: надзиратель Реддингской тюрьмы Мартин был уволен за то, что дал маленькому голодному ребенку-арестанту несколько сухарей.

«Жестокость, которой подвергаются и днем и ночью дети в английских тюрьмах, невероятна. Поверить в нее могут только те, кто сами наблюдали их и убедились в бесчеловечности английской системы. Ужас, испытываемый ребенком в тюрьме, не знает пределов. Нет ни одного арестанта в Реддингской тюрьме, который с величайшей радостью не согласился бы продлить на целые годы свое заключение, лишь бы перестали мучить в тюрьмах детей».

Так писал Уайльд в то время, и совершенно ясно, что наравне с остальными арестантами он, бывший великий эстет, отсидел бы в тюрьме несколько лишних лет за того крошечного мальчика, которого он часто видел рыдающим в одиночной камере.

Вскоре после освобождения из тюрьмы

Уайльд умер в добровольном изгнании в Париже.

Он умер в нищете, забытый Англией, Лондоном и друзьями. За его гробом шли только бедняки того квартала, где он жил.

1937

Малышкин

На дощатом крыльце сельской почты мальчишка-почтарь долго клеил на стену свежую московскую газету. Я ждал. С юга дуло жаром, несло пылью, запахом раскаленных сосен. В сером небе стояли ватные сухие облака.

Я взглянул на последнюю страницу газеты, и будто чугунным кулаком кто-то стиснул сердце...

Умер Малышкин.

Вокруг было все то же, пылил все тот же любимый им бесхитростный русский день, но его, Малышкина, милого Александра Георгиевича, уже не было, и мысль эта была нелепой и горькой.

В Малышкине рядом с беспокойной, всегда оживленной, всегда взволнованной талантливостью жила большая житейская простота, жизнерадостность, любовь к людям, к писательству как к своему единственно мыслимому и прекрасному человеческому пути.

Если говорить о традициях большой литературы или, вернее, о традициях больших и простых, как сама земля, мыслей и чувств, то Малышкин был одним из немногих носителей этих традиций – носителем верным и непреклонным.

Все его писательство, вся его личная жизнь были порывом к счастью – к счастью своей страны, своего народа. Этот порыв лучше всего передан им

в небольшом рассказе «Поезд на юг» – одном из шедевров советской литературы.

В этом постоянном беспокойном порыве к счастью и познанию всего существующего Малышкин был похож на ребенка, – он был так же искренен, экспансивен, так же по-детски радовался всему, что наполняло жизнь разумным и веселым содержанием.

Поздней осенью 1936 года я приехал в Ялту и застал там Малышкина. Был вечер, но на следующий день ранним утром Малышкин разбудил меня и повел в горы – такова, говорил он, была придуманная им традиция – водить всех только что приехавших в горы.

Синее влажное утро с трудом пробивалось сквозь осенний туман. Желтые дубовые заросли стояли в росе. Малышкин шел рядом и почти не смотрел по сторонам – он не спускал с меня глаз. Он заставлял меня смотреть то на море, сизой тучей лежавшее внизу у наших ног, то на последний желтый цветок, выросший на каменистой дороге, то на далекий водопад, казавшийся издали прядью белых нитей, брошенных на отвесные скалы.

Он следил за выражением моего лица и вдруг засмеялся – он был рад, что ему удалось еще одному человеку показать этот утренний мир. В эту минуту он был проводником по прекрасному, он приобщал меня к этой приморской осени и был

счастлив, что и это робкое солнце, и горы, и терпкий воздух, и гул невидимого прибоя, бившего в берега, что все это до меня «дошло», что еще одному человеку он смог передать хотя бы частицу тех чистых и ясных представлений, какими он жил в те дни.

Мы остановились на высоте скалы, туман прошел, и внезапно открылось море. Оно казалось сгущенным воздухом этой осени, оно несло к подножью мысов, к коричневой земле виноградников прозрачную влагу и качало в ней отражение солнца.

– Да, – сказал Малышкин и показал на море, – таким оно было, когда здесь еще не существовало Ялты, и таким оно будет, когда мы с вами умрем. Это очень радостно.

Эта простая мысль обычно вызывает у людей чувство собственного ничтожества, но Малышкин ощущал ее как нечто утверждающее жизнь.

Малышкин умер. Исчезло ясное и простое очарование его ума, таланта и доброты. И бесконечно жаль, что он умер так рано, – ведь для Малышкина только в последние годы началась его молодость, до этого жизнь была для него невесела и сурова.

Он умер, но Черное море шумит, как шумело при нем, и к нашим богатствам прибавилась еще одна ценность, оставленная нам Малышкиным – его

великолепные книги и его высокое волнение перед зрелищем мира и настоящей, невыдуманной человеческой жизни.

Солотча, Рязанская область
1938

Случай с Диккенсом

Желтые облака над Феодосией. Они кажутся древними, средневековыми. Жара. Прибой гремит жестянками. Мальчишки сидят на старой акации и набивают рот сухими сладкими цветами. Далеко над морем поднимается прозрачная струя дыма — идет из Одессы теплоход. Мрачный рыбак, подпоясанный обрывком сети, свистит и сплевывает в воду — ему скучно. Рядом с рыбаком на берегу сидит мальчик и читает книгу. «Дай, пацан, поглядеть, что такое за книга», — хрипло просит рыбак. Мальчик робко протягивает книгу. Рыбак начинает читать. Он читает пять минут, десять, он сопит от увлечения и говорит: «Вот это завинчено, убей меня бог!» Мальчик ждет. Рыбак читает уже полчаса. Облака переменялись на небе местами, мальчишки уже объели одну акацию и полезли на другую. Рыбак читает. Мальчик смотрит на него с тревогой. Проходит час. «Дядя, — шепотом говорит мальчик, — мне надо домой». — «До мамы?» — не глядя на него, спрашивает рыбак. «До мамы», — отвечает мальчик. «Успеешь до мамы», — сердито говорит рыбак. Мальчик замолкает. Рыбак с шумом перелистывает страницы, глотает слюну. Проходит полтора часа. Мальчик начинает тихо плакать. Теплоход уже подходит к порту и гудит небрежно и величаво.

Рыбак читает. Мальчик плачет, уже не скрываясь, слезы текут по его дрожащим щекам. Рыбак ничего не видит. Старый пристанский сторож кричит ему: «Петя, чего ты мучаешь ребенка! Отдай книгу, имей каплю совести». Рыбак удивленно смотрит на мальчика, бросает ему книгу, плюет, говорит с сердцем: «На, собственник, базарная душа, подавись своей книгой!» Мальчик хватает книгу и бежит, не оглядываясь, по раскаленному портовому спуску. «Что это была за книга?» — спрашиваю я рыбака. «Та Диккенс, — говорит он с досадой. — Такой прилипчивый писатель — как смола!»

Эдгар По

В конце сентября 1849 года в вагоне поезда, только что отошедшего из Балтимора в Филадельфию, кондуктор заметил низенького, худого человека в потрепанной одежде. Человек этот лежал без сознания. Когда он пришел в себя, кондуктор высадил его на первой же станции и отправил обратно в Балтимору, где, как полагал кондуктор, у этого человека должны были быть родственники или друзья. Неизвестный человек двигался, как во сне, и почти ничего не понимал. Чемодан его был набит рукописями.

В Балтиморе неизвестный вышел из вокзала, сел на уличную скамейку и просидел несколько часов без движения. Потом он упал. Его подобрали и отправили в больницу.

Через несколько дней, 7 октября 1849 года, этот человек умер от болезни, которую врачи не смогли определить. В медальоне на груди умершего нашли портрет молодой женщины необыкновенной красоты. Как потом выяснилось, это был портрет его матери. С ним умерший не расставался всю жизнь.

Так странно и одиноко окончилось существование замечательного американского писателя Эдгара По.

Современники Эдгара По оставили о нем

много воспоминаний, но все эти воспоминания написаны так, будто Эдгар По появился в тогдашней Америке как пришелец с далекой планеты.

О нем писали с почтительным или злым недоумением. Его разглядывали с любопытством и осуждением. Его боялись, но время от времени им восхищались. Он никак не сливался с благопристойной скукой и добропорядочностью, составлявшими основу жизни американца тридцатых и сороковых годов.

Эдгар По был «блудным сыном» Америки. Самое существование этого поэта, фантаста и неудачника, казалось вызовом ханжеству и рутине. В трезвый век пара и торговых лихорадок появился человек, который жил только силой своего воображения и насмехался над всем, что составляло смысл жизни его соотечественников.

Этого ему не могли простить, за это ему мстили. Его заставили почти всю жизнь голодать, нищенствовать, обивать пороги редакций. При жизни ему платили равнодушием, после смерти — клеветой.

Эта посмертная клевета на Эдгара По вызвала возмущенный возглас французского поэта Бодлера: «Почему в Америке не запрещают собакам ходить на кладбище?»

Эдгар По написал много фантастических

рассказов. Он написал много великолепных стихов и поэм, ставших сокровищами не только американской, но и всемирной поэзии.

Его поэмы «Ворон» и «Колокола» справедливо считаются по глубине и поэтической силе мировыми шедеврами.

Кроме того, Эдгар По впервые создал приключенческие и так называемые детективные рассказы, отличавшиеся необыкновенной точностью и блеском анализа. Пожалуй, на первом месте среди таких рассказов стоит «Золотой жук» — рассказ, овеянный острым и волнующим воздухом тайны.

Эдгар По был одним из родоначальников той фантастической литературы, которая получила свое развитие в произведениях Жюль Верна и Герберта Уэллса.

По крови Эдгар По ирландец. Он происходил из старинного ирландского рода. Предки его переселились в Америку. Дед Эдгара участвовал в войне за независимость Соединенных Штатов. По оставил генеральский дом с его прочным укладом и стал актером. Он женился на английской актрисе Элизабет Арнольд, женщине редкой красоты, сироте, родившейся на палубе корабля среди океана и воспитанной чужими людьми. Родители По переезжали в фургоне из города в город с трупой бродячих актеров.

В 1809 году в Бостоне у них родился сын Эдгар.

Когда Эдгару было всего два года, родители его почти в одно время умерли от чахотки. Мальчика взял на воспитание шотландский купец Джон Аллен из города Ричмонда в Виргинии.

Эдгар, красивый, своенравный и смелый мальчик, отличавшийся необыкновенной добротой, рос в богатой семье. Вскоре Аллен уехал на пять лет по торговым делам в Англию и взял Эдгара с собой.

То было время битвы при Ватерлоо, пленения Наполеона, молодости Байрона и Пушкина. Ветер романтики бушевал над Европой. Маленький Эдгар учился в школе на окраине Лондона, на тихой улице, обсаженной вековыми вязами. Улица эта выросла по сторонам сохранившейся древней римской дороги. Вся эта обстановка и бледное небо Англии вызывали мечтательность. С детских лет Эдгар дал волю своему воображению и потом с полным правом говорил о себе, что «мечтать было единственным делом моей жизни».

В 1820 году Эдгар вместе с Алленом вернулся в Виргинию и поступил в ричмондскую школу. Учителей этой школы удивляло, что Эдгар «всегда был готов уцепиться за любую трудную умственную задачу». Мальчик великолепно плавал. Он прославился на весь штат тем, что проплыл

шесть миль против течения бурной реки. Он мечтал переплыть Ламанш.

Так как будто безоблачно шла жизнь, но в глубине ее пряталась горечь. Эдгар никогда не мог забыть, что он приемыш. Весь характер жизни в доме Аллена был ему чужд и даже враждебен. Чувство одиночества не покидало «странного Эдди». Он очень болезненно и пылко отзывался на проявления доброты по отношению к себе. Случайная знакомая, Елена Стенперд, однажды приласкала его, и он отплатил ей за это глубокой привязанностью. Стенперд вскоре умерла. Эдгар часто ходил на ее могилу, иногда даже засыпал на могиле в слезах, а утром его находили на кладбище слуги шокированного этими «выходками» Джона Аллена.

Разрыв с приемным отцом был неизбежен. Он произошел, когда Эдгар поступил в Виргинианский университет.

Там он жил среди студентов весело и безалаберно. Он поражал всех своей удивительной памятью и немного сумбурной, но необыкновенной речью. Он потрясал слушателей, зачаровывал их, вырывал из привычной действительности и переносил в мир поэзии, вдохновения, тайн и тревог. «Гений подкидыш», — говорили о нем преподаватели и студенты.

Эдгар не окончил университета. Он порвал с

приемным отцом, уехал в Бостон, и с этого времени началась его самостоятельная, порой легендарная бродячая и трудная жизнь.

В Бостоне он выпустил первую книгу своих стихов — «Тамерлан». Потом на шесть лет он исчез из Америки. Никто не знает, что происходило с ним за эти шесть лет. Здесь начинается область легенд. Говорят, что он был в Греции, Италии, участвовал в польском восстании, жил в Петербурге, был ранен во время драки в Марселе и, наконец, якобы служил под вымышленным именем в американской армии. Известно только, что в 1830 году он появился в Вест-Пойнте, в Военной академии, уже усталым, с подорванным здоровьем юношей, но пробыл там недолго. Он несколько раз, очевидно сознательно, нарушил дисциплину, был предан военному суду и исключен из армии. Потом Эдгар По выпустил две новые книги поэм и опять исчез на три года. Появился он в 1833 году в редакции журнала «Субботний гость» в Балтиморе. Он принес в редакцию два рассказа: «Рукопись, найденная в бутылке» и «Низвержение в Мальстрем» — и ушел. Рассказы произвели ошеломляющее впечатление. Писатель Кеннеди бросился разыскивать неизвестного автора. Он нашел Эдгара По в холодной каморке, умирающего от голода. Кеннеди поразило нервное и печальное лицо По, светло-оливковый цвет его кожи, живые и

напряженные глаза и весь облик этого нищего, державшего себя с необыкновенным достоинством и изяществом подлинного джентльмена.

Рассказы были напечатаны. Слава пришла сразу. Она прокатилась волной по Америке и перебросилась в Старый Свет. Но слава ни разу в жизни не дала Эдгару По ни одного дня, свободного от нужды и забот.

В 1837 году жизнь, наконец, улыбнулась Эдгару. Он полюбил свою двоюродную сестру Виргинию. Некоторое время спустя Эдгар По обвенчался с нею в Ричмонде. По отзывам всех, кто видел Виргинию, это была девушка, полная внешнего и внутреннего изящества, простоты и ласковости. Она глубоко и преданно любила Эдгара По. Знакомые прозвали ее «Троицын цвет» — по имени нежного цветка, украшавшего поля вокруг Ричмонда.

Виргиния умерла от чахотки, когда ей было всего двадцать пять лет. Эдгар По прожил с ней и с ее матерью Клемм несколько спокойных годов. Он был очень весел в это время, мягок и добр. Когда жить в Нью-Йорке, Ричмонде, Филадельфии и других городах стало уже не по силам из-за денежных затруднений, По переехал в деревню.

Он жил с Виргинией и ее матерью в маленьком доме, окруженном мириадами цветов и старыми вишневыми деревьями. Поэтесса Френсис

Локки вспоминает, как легко и весело работал в это время Эдгар По. Он показывал ей свои рукописи. Писал он на узких и длинных листах бумаги, свернутой в рулоны. По, смеясь, развертывал перед ней эти длинные рукописи и протягивал их через весь сад.

В деревне Эдгар По начал писать очерки о тогдашних американских писателях. Это были язвительные и беспощадные портреты. Литературная Америка всполошилась. Началась обдуманная травля Эдгара По. Ему начали возвращать рукописи из журналов. На него клеветали. Наступили безденежье и нужда. По пришел в отчаяние и начал пить. Все рушилось.

Один из журналов напечатал воззвание к гражданам Америки с просьбой жертвовать деньги и вещи в пользу нищего Эдгара По. Это воззвание о милостыне привело писателя в ярость. Он считал, что его литературные заслуги перед Америкой таковы, что правительство может помочь ему в трудную минуту. Но правительство ответило на обращение Эдгара По грубым отказом.

В январе 1847 года Виргиния умерла в пустом деревенском доме — все было продано. Она умерла на полу, на охапке чистой соломы, застланной белоснежной простыней, умерла, укрытая старым рваным пальто Эдгара По.

Эдгар По пережил Виргинию только на два

года. Он сильно страдал, метался по стране. Он искал новых привязанностей, но никто не мог заменить Виргинию. Один только человек остался верен Эдгару По до смерти, по-матерински заботился о нем. Это была мать Виргинии, старуха Клемм.

Хоронили Эдгара По в Балтиморе. Хоронили чужие, а может быть, и враждебные люди.

Они заказали очень тяжелую каменную плиту, чтобы положить ее на могилу беспокойного поэта. Как будто тяжестью этой плиты они измеряли свое пренебрежение к нему. Как будто они боялись, что он может встать из могилы — насмешливый и непонятный.

Когда каменную плиту положили на могилу Эдгара По, она раскололась. Весной в трещине проросли занесенные ветром семена полевых цветов, и могила закрылась этими цветами и высокой травой.

Так жил, работал и умер Эдгар По. Жизнь его, равно как и смерть, лишний раз подтвердила ту истину, что старое общество всегда было жестоко и несправедливо к людям большого таланта и большой души.

Бессмертный Тиль (Уленшпигель)

Старинная Фландрия. Родина Тиля Уленшпигеля. Веселая и богатая страна. Страна румяных и шутливых людей, тучных пастбищ, маленьких городов, дремлющих под треньканье надтреснутых колоколов, и других городов – многолюдных, огромных.

Эти города сотни лет копили богатства. Они были обширными кладовыми Европы. «Смотри, – сказал Уленшпигель Ламме, когда они подошли к Антверпену, – вот громадный город, который вселенная сделала средоточием своих сокровищ. Здесь золото, серебро, пряности, золоченая кожа, гобелены, ковры, занавесы, бархат, шерсть и шелк; здесь бобы, горох, зерно, мясо, мука, кожи; здесь вина отовсюду».

Расцвет Фландрии начался еще в средние века. Неуклюжие корабли всех стран со своими разноцветными парусами отражались в воде фландрских гаваней и веселили человеческий глаз. Из погребов сочился сладковатый запах. В погребах был заперт вместе с товарами воздух тропических островов, далекой и таинственной Явы. Высушенные летучие рыбы висели на стенах около распятий в низких комнатах, освещенных огнем каминов. Люди Фландрии трудились, как пчелы, собирая мед и жатву, строя корабли, прорывая

каналы, вспахивая поля, закидывая в реки и морские заливы рыбачьи сети, вертя жужжащие веретена с куделью. Такой мы представляли себе старинную Фландрию.

Но такой она казалась только при поверхностном знакомстве. Углубляясь в историю этой страны, мы узнавали о народных вольностях, о жестоких войнах с Испанией за независимость, о казнях, кострах, осадах, гуле «Борксторма» – набатного колокола, о черных тучах пожара, застилавших зеленые польдеры, – обо всем, что рассказал Шарль де Костер в своей замечательной книге.

Шарль де Костер, скромный ученый и литератор прошлого века, светловолосый высокий фламандец, собрал легенды о народном герое Фландрии Тиле Уленшпигеле, соединил их разрозненные части и создал эту бессмертную книгу.

Жизнь Шарля де Костера, этого мягкого и молчаливого человека, была полна лишений, горя и труда.

Костер был служащим бельгийского государственного архива. Через его руки прошло множество древних рукописей. Нужны были величайший талант и юношеская свежесть воображения, чтобы за полустертыми строчками манускриптов, за громоздкими фразами

средневековых документов с их зачастую темным и запутанным содержанием увидеть во всем могучем размахе великое народное движение, возникшее в старой Фландрии, – восстание «гезов» (в переводе – «фвани») против испанцев, чтобы воссоздать немеркнувший образ весельчака и мстителя Тиля Уленшпигеля и всю резкую по краскам и точную по рисунку героическую эпоху из истории своей страны.

«Тиль Уленшпигель» при жизни Шарля де Костера не пользовался успехом. Социальное его содержание, гнев, ненависть к сильным мира сего – все это отпугивало от книги Костера современных ему боязливых критиков. В то время в Бельгии уже зарождалось так называемое «внесоциальное» и расплывчатое литературное течение символистов, во главе которого стал Морис Метерлинк – мистический поэт с туманными глазами и туманными мыслями.

А Костер был резок, груб, неспокоен. Он говорил о прошлом Фландрии, но в голосе его звучало негодование против несправедливостей своего времени. Костер был не ко двору в благопристойной Бельгии конца XIX века. Поэтому и слава пришла к Шарлю де Костеру после смерти.

Где и когда родился в недрах Фландрии образ бродяги и народного героя Тиля Уленшпигеля, сказать трудно. Это древний образ, переходивший

из века в век, близкий романским народам. Средневековые устные рассказы – фаблио – сохранили нам воспоминания о якобы беззаботных плутах, носивших в сердце бесстрашие и любовь к своему народу.

У Тилья Уленшпигеля много предков, но создатель Уленшпигеля – один. Это народ Фландрии. Шарль де Костер – только представитель этого народа, талантливый, терпеливый и скромный писатель, закрепивший легенду на бумаге.

Как обычно, все герои легенды об Уленшпигеле олицетворяют те или иные свойства народа.

Тиль – это вольнолюбивый, стойкий и лукавый дух Фландрии. Его верная спутница Неле – это любовь. Ламме Гудзак – это «брюхо», плоть Фландрии, законченное выражение необыкновенной фламандской полнокровности и жизнерадостности.

Этот простак окружен в легенде звоном бутылок, шипением мяса на вертеле, треском разрываемых руками кровяных колбас. Он весь лоснится от благодушия, лени и жира, слизанного с тарелок. С редкой выразительной силой описывает Костер заезжие дворы и таверны с их горами хрустящих пирожков, сала, белого хлеба, гентских сосисок, лувенского сыра, жареной рыбы, жирной

ветчины, с песнями, драками и болтовней посетителей, в чьи глотки крепкое пиво низвергается, точно водопад, несущийся с горной вершины.

Но вокруг харчевен вьются ласточки в синем небе, дуют теплые ветры, качаются цветущие кусты, колосится пшеница, и живет другая Фландрия – ласковая, улыбающаяся и нежная, как девушка Неле.

Шарля де Костера привлекла полная трагических событий и героизма нидерландская революция XVI века, восстание страны против испанцев, народное движение «великой рвани» – гезов.

Веселый Тиль, бродяга и затейник, беспечно слоняющийся по дорогам Нидерландов с песнями, плутнями и шутками, становится упорным борцом за лучшую участь своего народа, беспощадным мстителем за его поруганную свободу.

Бродяжничество Уленшпигеля приобретает иной характер: «Благословенны скитания ради освобождения родины». Теперь Тиль бродит по стране как разведчик, как неуловимый собиратель народных сил. Всюду, у каждого порога, где живут угнетенные, на его условный крик жаворонка люди, готовые к восстанию, отвечают криком петуха.

Так он проходит по всей стране, и люди поднимаются вслед за ним. Набатные колокола

гудят над кровлями деревень и городов, сзывая на борьбу с инквизицией.

Великолепны страницы в книге Шарля де Костера, посвященные портретам угнетателей Фландрии – зловещих испанских королей Карла Пятого и Филиппа Второго. Не многие книги в мировой литературе проникнуты такой яростной и уничтожающей силой ненависти. Особенно беспощаден Костер в тех местах, где он пишет о жестоком выродке – короле Филиппе Втором:

«В этот день король Филипп объелся пирожными и потому был еще более мрачен, чем обычно. Он играл на своем живом клавесине – ящике, где были заперты кошки, головы которых торчали из круглых дыр над клавишами. Когда король ударял по клавише, она, в свою очередь, ударяла иглой по кошке, и животное жалобно мяукало от боли.

Но Филипп не смеялся».

Отрекшийся от престола Карл Пятый учит своего сына Филиппа основам вероломного управления народами. «Надо лизать, – говорит он, – пока не пришло время укусить».

Отец Тиля Уленшпигеля Клаас погибает на костре инквизиции. Тиль зашивает в мешочек пепел его сердца, всю жизнь носит его у себя на груди, и этот пепел Клааса становится символом неутолимой народной мести. Как грозный припев

проходят через всю легенду слова Тилья: «Пепел Клааса стучит в мое сердце!»

«Пепел Клааса стучит в мое сердце, – говорит Тиль – Смерть властвует над Фландрией и во имя папы косит сильнейших мужчин и прекраснейших девушек. Права Фландрии попораны, ее вольности отобраны, голод грызет страну... Если Фландрии не прийти на помощь, она погибнет».

Народный гений в легенде об Уленшигеле сплавил воедино, как это бывает и в жизни, смех и страдание, шутку и угрозу, любовь и ненависть. Голос народа звучит со страниц книги Шарля де Костера. Сила простых ее слов, скупого, лишенного всяких украшений рассказа неотразима. Только благодаря могучей силе народного языка, меткого и точного, стало возможно в одной и той же легенде дать мрачные картины сожжений и пыток, как бы написанные запекшейся человеческой кровью, и тут же, рядом, наполнить целые страницы запахом цветущих лугов, пением птиц, шумом летних дождей, любовью, плясками, бьющей через край жизнерадостностью.

Легенда об Уленшигеле – выражение сущности народа. Народ бессмертен. Поэтому бессмертен и Уленшигель. Он может уснуть, но никогда не может умереть.

Легенду об Уленшигеле можно назвать вещей книгой – в хорошем значении этого слова.

Она предвещает победу человеческого разума и справедливости и неизбежную гибель всего, что является на земле носителем тьмы, жестокости, корысти и насилия. Она предвещает дни народных побед, ликований, осмысленного и радостного труда.

1954

Рувим Фраерман

Батумская зима 1923 года ничем не отличалась от обычных тамошних зим. Как всегда, лил, почти не переставая, теплый ливень. Бушевало море. Над горами клубился пар.

На раскаленных мангалах шипела баранина. Едко пахло водорослями прибой намывал их вдоль берега бурыми валами. Из духанов сочился запах кислого вина. Ветер разносил его вдоль дощатых домов, обитых жостью.

Дожди шли с запада. Поэтому стены батумских домов, выходявшие на запад, обивали жостью, чтобы они не гнили.

Вода хлестала из водосточных труб без перерыва по нескольку суток. Шум этой воды был для Батума настолько привычным, что его уже перестали замечать.

В такую вот зиму я познакомился в Батуме с писателем Фраерманом. Я написал слово «писатель» и вспомнил, что тогда ни Фраерман, ни я еще не были писателями. В то время мы только мечтали о писательстве, как о чем-то заманчивом и, конечно, недостижимом.

Я работал тогда в Батуме в морской газете «Маяк» и жал в так называемом «бордингаузе» — гостинице для моряков, оставших от своих пароходов.

Я часто встречал на улицах Батума низенького, очень быстрого человека со смеющимися глазами Он бегал по городу в старом черном пальто. Полы пальто развевались от морского ветра, а карманы были набиты мандаринами Человек этот всегда носил с собой зонтик, но никогда его не раскрывал Он просто забывал это делать.

Я не знал, кто этот человек, но он нравился мне своей живостью и прищуренными веселыми глазами. В них, казалось, все время перемигивались всякие интересные и смехотворные истории.

Вскоре я узнал, что это — батумский корреспондент Российского телеграфного агентства — РОСТА и зовут его Рувим Исаевич Фраерман Узнал и удивился потому, что Фраерман был гораздо больше похож на поэта, чем на журналиста.

Знакомство произошло в духане с несколько странным названием «Зеленая кефаль» (Каких только названий не было тогда у духанов, начиная от «Симпатичного друга» и кончая «Не заходи, пожалуйста».)

Был вечер Одинокая электрическая лампочка то наливалась скучным огнем, то умирала, распространяя желтоватый сумрак.

За одним из столиков сидел Фраерман с известным всему городу вздорным и желчным репортером Соловейчиком.

Тогда в духанах полагалось сначала бесплатно пробовать все сорта вина, а потом уже, выбрав вино, заказать одну-две бутылки «за наличный расчет» и выпить их с поджаренным сыром сулугуни.

Хозяин духана поставил на столик перед Соловейчиком и Фраерманом закуску и два крошечных персидских стаканчика, похожих на медицинские банки. Из таких стаканчиков в духанах всегда давали пробовать вино.

Желчный Соловейчик взял стаканчик и долго, с презрением рассматривал его на вытянутой руке.

— Хозяин, — сказал он, наконец, угрюмым басом, — дайте мне микроскоп, чтобы я мог рассмотреть, стакан это или наперсток.

После этих слов события в духане начали разворачиваться, как писали в старину, с головокружительной быстротой.

Хозяин вышел из за стойки. Лицо его налилось кровью. В глазах сверкал зловещий огонь. Он медленно подошел к Соловейчику и спросил вкрадчивым, но мрачным голосом:

— Как сказал?

Микроскопий Соловейчик не успел ответить.

— Нет для тебя вина! — закричал страшным голосом хозяин, схватил за угол скатерть и сдернул ее широким жестом на пол — Нет! И не будет! Уходи, пожалуйста!

Бутылки, тарелки, жареный сулугуни — все полетело на пол. Осколки со звоном разлетелись по всему духану. За перегородкой вскрикнула испуганная женщина, а на улице зарыдал, икая, осел.

Посетители вскочили, зашумели, и только один Фраерман начал заразительно хохотать.

Он смеялся так искренне и простодушно, что постепенно развеселил и всех посетителей духана. А потом и сам хозяин, махнув рукой, заулыбался, поставил перед Фраерманом бутылку лучшего вина — изабеллы — и сказал примирительно Соловейчику.

— Зачем ругаешься? Скажи по-человечески. Разве русского языка не знаешь?

Я познакомился после этого случая с Фраерманом, и мы быстро сдружились. Да и трудно было не подружиться с ним — человеком открытой души, готовым пожертвовать всем ради дружбы.

Нас объединила любовь к поэзии и литературе. Мы просиживали ночи напролет в моей тесной каморке и читали стихи. За разбитым окном шумело во мраке море, крысы упорно прогрызали пол, порой вся наша еда за день состояла из жидкого чая и куска чурека, но жизнь была прекрасна. Чудесная действительность дополнялась строфами Пушкина и Лермонтова, Блока и Багрицкого (его стихи тогда впервые попали в

Батум из Одессы), Тютчева и Маяковского.

Мир для нас существовал, как поэзия, а поэзия — как мир.

Молодые дни революции шумели вокруг, и можно было петь от радости перед зрелищем счастливой дали, куда мы шли вместе со всей страной.

Фраерман недавно приехал с Дальнего Востока, из Якутии. Там он сражался в партизанском отряде против японцев. Длинные батумские ночи были заполнены его рассказами о боях за Николаевск-на-Амуре, об Охотском море, Шантарских островах, буранах, гиляках и тайге.

В Батуме Фраерман начал писать свою первую повесть о Дальнем Востоке. Называлась она «На Амуре». Потом, после многих авторских придирчивых исправлений, она появилась в печати под названием «Васька-гиляк». Тогда же в Батуме Фраерман начал писать свой «Буран» — рассказ о человеке в гражданской войне, повествование, полное свежих красок и отмеченное писательской зоркостью.

Удивительной казалась любовь Фраермана к Дальнему Востоку, его способность ощущать этот край как свою родину. Фраерман родился и вырос в Белоруссии, в городе Могилеве-на-Днепре, и его юношеские впечатления были далеки от дальневосточного своеобразия и размаха — размаха

во всем, начиная от людей и кончая пространствами природы.

Подавляющее большинство повестей и рассказов Фраермана написаны о Дальнем Востоке. Их с полным основанием можно назвать своего рода энциклопедией этой богатой и во многих своих частях еще неведомой нам области Советского Союза.

Книги Фраермана — совсем не краеведческие. Обычно, книги по краеведению отличаются излишней описательностью. За чертами быта жителей, за перечислением природных богатств края и всех прочих его особенностей исчезает то, что является главным для познания края — чувство края, как целого. Исчезает то особое поэтическое содержание, которое присуще каждой области страны.

Поэзия величавого Амура совершенно иная, чем поэзия Волги, а поэзия тихоокеанских берегов очень разнится от поэзии Черноморья. Поэзия тайги, основанная на ощущении непроходимых девственных лесных пространств, безлюдия и опасности, конечно, иная, чем поэзия среднерусского леса, где блеск и шум листвы никогда не вызывает чувства затерянности среди природы и одиночества.

Книги Фраермана замечательны тем, что очень точно передают поэзию Дальнего Востока.

Можно открыть наугад любую из его дальневосточных повестей — «Никичен», «Ваську-гиляка», «Шпиона» или «Собаку Динго» и почти на каждой странице найти отблески этой поэзии. Вот отрывок из «Никичен».

«Никичен вышла из тайги. Ветер пахнул ей в лицо, высушил росу на волосах, зашуршал под ногами в тонкой траве. Кончился лес. Его запах и тишина остались за спиной Никичен. Только одна широкая лиственница, словно не желая уступать морю, росла у края гальки и, корявая от бурь, качала раздвоенной вершиной. На самой верхушке сидел, нахохлившись, орел-рыболов. Никичен тихо обошла дерево, чтобы не потревожить птицу. Кучи наплавного леса, гниющих водорослей и дохлой рыбы обозначали границу высоких приливов. Пар струился над ними. Пахло влажным песком. Море было мелко и бледно. Далеко у воды торчали скалы. Над ними серыми стаями носились кулики. Между камнями ворочался прибой, качая листья морской капусты. Его шум окутал Никичен. Она слушала. Раннее солнце отражалось в ее глазах. Никичен взмахнула арканом, будто хотела накинуть его на эту тихую зыбь, и сказала: „Капсе дагор, Ламское море!“ (Здравствуй, Ламское море!)»

Прекрасны и полны свежести картины леса, рек, сопок, даже отдельных цветов-соранок — в «Собаке Динго».

Весь край в рассказах Фраермана как бы появляется из утреннего тумана и торжественно расцветает под солнцем. И, закрывая книгу, мы чувствуем себя наполненными поэзией Дальнего Востока.

Но главное в книгах Фраермана — это люди. Пожалуй, никто из наших писателей еще не говорил о людях разных народностей Дальнего Востока — о тунгусах, гиляках, нанайцах, корейцах — с такой дружеской теплотой, как Фраерман. Он вместе с ними воевал в партизанских отрядах, погибал от гнуса в тайге, спал у костров на снегу, голодал и побеждал. И Васька-гиляк, и Никичен, и Олешек, и мальчик Ти-Суеви и, наконец, Филька — все эти кровные друзья Фраермана, люди преданные, широкие, полные достоинства и справедливости.

Если до Фраермана существовал только один образ замечательного дальневосточного следопыта и человека — Дерсу Узала из книги Арсеньева об Уссурийском крае, то сейчас Фраерман утвердил этот обаятельный и сильный образ в нашей литературе.

Конечно, Дальний Восток дал Фраерману только материал, пользуясь которым он раскрывает свою писательскую сущность, высказывает свои мысли о людях, о будущем и передает читателям свою глубочайшую веру в то, что свобода и любовь

к человеку — это главное, к чему мы должны всегда стремиться. Стремиться на том, как будто коротком, но значительном отрезке времени, который мы зовем «своей жизнью».

Стремление к усовершенствованию самого себя, к простоте человеческих отношений, к пониманию богатств мира, к социальной справедливости проходит через все книги Фраермана и выражено им в словах простых и искренних.

Выражение «добрый талант» имеет прямое отношение к Фраерману. Это-талант добрый и чистый. Поэтому Фраерману удалось с особой бережностью прикоснуться к таким сторонам жизни, как первая юношеская любовь.

Книга Фраермана «Дикая собака Динго, или повесть о первой любви» — это полная света, прозрачная поэма о любви между девочкой и мальчиком. Такая повесть могла быть написана только хорошим психологом.

Поэтичность этой вещи такова, что описание самых реальных вещей сопровождается ощущением сказочности.

Фраерман не столько прозаик, сколько поэт. Это определяет многое как в его жизни, так и в творчестве.

Сила воздействия Фраермана и заключена главным образом в этом его поэтическом видении

мира, в том, что жизнь предстает перед нами на страницах его книг в своей прекрасной сущности. Фраермана с полным основанием можно причислить к представителям социалистического романтизма.

Может быть, поэтому Фраерман иной раз предпочитает писать для юношества, а не для взрослых. Непосредственное юношеское сердце ему ближе, чем умудренное опытом сердце взрослого человека.

Как-то так случилось, что с 1923 года жизнь Фраермана довольно тесно переплеталась с моей и почти весь его писательский путь прошел у меня на глазах. В его присутствии жизнь всегда оборачивалась к вам своей привлекательной стороной. Даже если бы Фраерман не написал ни одной книги, то одного общения с ним было бы достаточно, чтобы погрузиться в веселый и беспокойный мир его мыслей и образов, рассказов и увлечений.

Сила рассказов Фраермана усиливается его тонким юмором. Этот юмор то трогателен (как в рассказе «Писатели приехали»), то резко подчеркивает значительность содержания (как в рассказе «Путешественники вышли из города»). Но кроме юмора в своих книгах, Фраерман еще удивительный мастер юмора в самой жизни, в своих устных рассказах. Он широко владеет даром,

который встречается не так уж часто, — способностью относиться с юмором к самому себе.

Самая глубокая, самая напряженная деятельность человека может и даже должна сопровождаться живым юмором. Отсутствие юмора свидетельствует не только о равнодушии ко всему окружающему, но и об известной умственной тупости.

В жизни каждого писателя бывают годы спокойной работы, но бывают иногда годы, похожие на ослепительный взрыв творчества. Одним из таких подъемов, таких «взрывов» в жизни Фраермана и ряда других, родственных ему по духу писателей, было начало тридцатых годов. То были годы шумных споров, напряженной работы, нашей писательской молодости и, пожалуй, наибольших писательских дерзаний.

Сюжеты, темы, выдумки и наблюдения бродили в нас, как молодое вино. Стоило сойтись за банкой свинобобовых консервов и кружкой чая Гайдару, Фраерману и Роскину, как тотчас же возникало поразительное соревнование эпиграмм, рассказов, неожиданных мыслей, поражавших своей щедростью и свежестью. Смех порой не затихал до утра. Литературные планы возникали внезапно, тотчас обсуждались, приобретали порой фантастические очертания, но почти всегда выполнялись.

Тогда уже все мы вошли в широкое русло литературной жизни, уже выпускали книги, но жили все так же, по-студенчески, и временами Гайдар или Роскин, или я гораздо сильнее, чем своими напечатанными рассказами, гордились тем, что нам удалось незаметно, не разбудив бабушку Фраермана, вытащить ночью из буфета последнюю припрятанную ею банку консервов и съесть их с невероятной быстротой. Это было, конечно, своего рода игрой, так как бабушка — человек неслыханной доброты — только делала вид, что ничего не замечает.

То были шумные и веселые сборища, но никто из нас не мог бы допустить и мысли, что они возможны без бабушки, — она вносила в них ласковость, теплоту и порой рассказывала удивительные истории из своей жизни, прошедшей в степях Казахстана, на Амуре и во Владивостоке.

Гайдар всегда приходил с новыми шутливыми стихами. Однажды он написал длинную поэму обо всех юношеских писателях и редакторах Детского издательства. Поэма эта затерялась, забылась, но я помню веселые строки, посвященные Фраерману:

В небесах над всей вселенной,
Вечной жалостью томим
Зрит небритый, вдохновенный,
Всепрощающий Рувим...

Это была дружная семья — Гайдар, Роскин, Фраерман, Лоскутов. Их связывала и литература, и жизнь, и подлинная дружба, и общее веселье.

Это было содружество людей, преданных без страха и упрека своему писательскому делу. В общении выковывалась общность взглядов, шло непрерывное формирование характеров, как будто сложившихся, но всегда юных. И в годы испытаний, в годы войны все, кто входил в эту писательскую семью своим мужеством, а иные и героической смертью доказали силу своего духа.

Вторая полоса жизни Фраермана после Дальнего Востока была накрепко связана со Средней Россией.

Фраерман — человек, склонный к скитальчеству, исходивший пешком и изъездивший почти всю Россию. нашел, наконец, свою настоящую родину Мещерский край, лесной прекрасный край к северу от Рязани.

Этот край является, пожалуй, наилучшим выражением русской природы с ее перелесками, лесными дорогами, поемными приобскими лугами, озерами, с ее широкими закатами, дымом костров, речными зарослями и печальным блеском звезд над спящими деревушками, с ее простодушными и талантливыми людьми-лесниками, паромщиками, колхозниками, мальчишками, плотниками, бакенщиками. Глубокая и незаметная на первый

взгляд прелесть этой песчаной лесной стороны совершенно покорила Фраермана.

С 1932 года каждое лето, осень, а иногда и часть зимы Фраерман проводит в Мещерском крае, в селе Солотче, в бревенчатом и живописном доме, построенном в конце девятнадцатого века гравером и художником Пожалостиным.

Постепенно Сологча стала второй родиной и для друзей Фраермана. Все мы, где бы мы ни находились, куда бы нас ни забрасывала судьба, мечтали о Солотче, и не было года, когда бы туда, особенно по осени, не приезжали на рыбную ловлю, на охоту или работать над книгами и Гайдар, и Роскин, и я, и Георгий Шторм, и Василий Гроссман, и многие другие.

Старый дом и все окрестности Солотчи полны для нас особого обаяния. Здесь были написаны многие книги, здесь постоянно случались всяческие веселые истории, здесь в необыкновенной живописности и уюте сельского быта все мы жили простой и увлекательной жизнью. Нигде мы так тесно не соприкасались с самой гущей народной жизни и не были так непосредственно связаны с природой, как там.

Ночевки в палатке вплоть до ноября на глухих озерах, походы на заповедные реки, цветущие безбрежные луга, крики птиц, волчий вой, — все — это погружало нас в мир народной поэзии, почти в

сказку и вместе с тем в мир прекрасной реальности.

Мы с Фраерманом исходили многие сотни километров по Мещерскому краю, но ни он, ни я не можем считать, положа руку на сердце, что мы его знаем. Каждый год он открывал перед нами все новые красоты и становился все интереснее-вместе с движением нашего времени.

Невозможно припомнить и сосчитать, сколько ночей мы провели с Фраерманом то в палатках, то в избах, то на сеновалах, то просто на земле на берегах Мещерских озер и рек, в лесных чащах, сколько было всяких случаев то опасных, то трагических, то смешных, — сколько мы наслышались рассказов и небылиц, к каким богатствам народного языка мы прикоснулись, сколько было споров и смеха, и осенних ночей, когда особенно легко писалось в бревенчатом доме, где на стенах прозрачными каплями темного золота окаменела смола.

Писатель Фраерман неотделим от человека. И человек неотделим от писателя. Литература призвана создавать прекрасного человека, и к этому высокому делу Фраерман приложил свою умелую и добрую руку. Он щедро отдает свой талант величайшей задаче для каждого из нас — созданию счастливого и разумного человеческого общества.

Встречи с Гайдаром

Давно, еще в 1916 году, я был проездом в Арзамасе. Вырос я на юге и до тех пор не видал еще таких уездных городков, как Арзамас, — типично русских, вплоть до причудливых резных наличников, неизменной герани на окнах и дверных звонков, дребезжащих на заржавленной проволоке.

Старый Арзамас остался в памяти, как город яблоч и церковей. Базар был заставлен плетеными корзинами с желтыми, крепкими яблоками, и куда ни взглянешь — всюду было такое обилие золоченых, похожих на эти яблоки куполов, что казалось, этот город был вышит в золотошвейной мастерской руками искусных женщин.

Есть сотни маленьких городов в России. Никто даже толком не знает об их существовании. А вот Арзамасу повезло. Он вошел в народную поговорку: «Один глаз на нас, другой — на Арзамас». Его имя в начале девятнадцатого века было присвоено вольнолюбивому литературному обществу, основанному Жуковским. Пушкин был принят в это общество еще лицеистом. Поэту дали в «Арзамасе» чудесное прозвище — «Сверчок».

В Арзамасе жил в ссылке Максим Горький. А в начале двадцатого века в захолустном в ту пору Арзамасе, в простой русской семье народного учителя провел свое детство Аркадий Гайдар —

замечательный советский писатель и столь же замечательный человек.

О Гайдаре-писателе я говорить не буду. Книги его широко известны. О них написано много хороших и справедливых статей. Я хочу просто рассказать о том Аркадии Гайдаре, которого я знал и с которым дружил в последние годы его жизни.

Я написал слова «просто рассказать» — и понял, что это, конечно, совсем не так просто. Это очень трудно — воссоздать образ ушедшего от нас человека без всяких прикрас, без того, чтобы не изображать его сусальным и шаблонным героем.

Иные воспоминания о Гайдаре как раз грешат этим. За мишурой, за слащавым умилением исчезает подлинный Гайдар — человек сложный, временами трудный, во многом противоречивый, как большинство талантливых людей, но обаятельный, простой и значительный в любом своем поступке и слове.

Есть очень верное выражение: «В настоящей литературе нет мелочей». Каждое, даже на первый взгляд ничтожное слово, каждая запятая и точка нужны, характерны, определяют целое и помогают наиболее резкому выражению идеи. Хорошо известно, какое потрясающее впечатление производит точка, поставленная вовремя.

Я говорю это к тому, что как в настоящей литературе, так и в жизни настоящего человека нет

мелочей. Каждый, даже как будто бы пустяковый поступок или вскользь брошенная фраза раскрывают перед нами его облик еще в одном каком-нибудь качестве.

Гайдар был настоящим и большим человеком. Поэтому каждая даже «как будто бы мелочь», связанная с ним, определяет новую черту его глубокой натуры.

В своих воспоминаниях я приведу несколько таких кажущихся мелочей, тех «малых капель вод», в которых все же отражается солнце.

Главным и самым удивительным свойством Гайдара было, по-моему, то, что его жизнь никак нельзя было отделить от его книг. Жизнь Гайдара была как бы продолжением его книг, а может быть, иногда их началом. Почти каждый день Гайдар был наполнен необыкновенными происшествиями, выдумками, шумными и интересными спорами, трудной работой и остроумными шутками.

Все, что бы ни делал или говорил Гайдар, тотчас теряло свои будничные, наскучившие черты и становилось необыкновенным. Это свойство Гайдара было совершенно органическим, непосредственным — такова была натура этого человека.

Он прошел по жизни, как удивительный рассказчик, трогавший до слез детские сердца, и вместе с тем как пронизательный и суровый

товарищ и воспитатель.

Детей, особенно мальчишек, он знал насквозь, с одного взгляда и умел говорить с ними так, что через две-три минуты каждый мальчишка готов был по первому слову Гайдара совершить любой героический поступок.

Дольше всего мне пришлось прожить вместе с Гайдаром в селе Солотче, под Рязанью, в Мещерских лесах. Там он задумывал и писал некоторые свои повести и рассказы.

Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли об этом думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал вслух самому себе новую главу из начатой книги, тут же на ходу исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании, в памяти. И затем уже редко менял написанное.

Я в это время тоже работал в деревянной баньке и невольно прислушивался к бормотанью Гайдара. Я слышал, конечно, только те слова, которые он говорил, когда проходил мимо открытого окна баньки и искоса сердито поглядывал на меня — сердито потому, что Гайдар никак не мог понять, как это можно писать, сидя по нескольку часов, и к людям, работавшим именно так, относился с некоторой долей зависти и уважения.

— Если бы я мог вот так сидеть за столом, — сказал он мне однажды, — я бы уже написал целое собрание сочинений. Честное пионерское слово!

Потом те фразы, которые я слышал в заглушем и тенистом деревенском саду, я встретил, как старых и добрых друзей, на страницах «Судьбы барабанщика», когда Гайдар принес мне в Москве только что вышедшую эту книгу.

— Вот эту фразу, — напомнил я Гайдару, — ты говорил, когда дожевывал яблоко. Штрифель.

— А эту, — ответил мне Гайдар, — я придумал, когда синица висела вниз головой на ветке клена, заглядывала к тебе в окно и хотела своровать семена настурции. Они сушились у тебя на подоконнике. Помнишь?

Так мы вспоминали строка за строкой всю историю придумывания этой чудесной книги, и Гайдар был этим очень доволен.

Иногда Гайдар приходил и без всяких обиняков спрашивал:

— Хочешь, я прочту тебе новую повесть? Вчера окончил.

— Конечно, читай.

И тут происходило непонятное. Обычно в таких случаях писатель вытаскивает рукопись, кладет ее на стол, разглаживает ладонью, торопливо закуривает, причем папироса у него тут же тухнет, говорит несколько невнятных и жалких

слов о том, что он совсем не умеет читать и рукопись к тому же еще совершенно сырая, и только после этого хриплым и прерывающимся голосом начинает читать.

Гайдар никакой рукописи из кармана не вынимал. Он останавливался посреди комнаты, закладывая руки за спину и, покачиваясь, начинал спокойно и уверенно читать всю повесть наизусть страницу за страницей.

Он очень редко сбивался. Каждый раз при этом краснел от гнева на себя и щелкал пальцами. В особенно удачных местах глаза его шурились и лукаво смеялись.

Раза два мы, его друзья, на пари следили за его чтением по напечатанной книге, но он ни разу не спугался и не замаялся и за это потребовал от нас такое неслыханное выполнение пари — что-то вроде покупки для него подвесного лодочного мотора, — что мы бросили это дело и никогда больше Гайдара не проверяли.

«Разве это свойство Гайдара что-нибудь доказывает, кроме того, что у Гайдара была блестящая память?» — с полным правом может спросить меня читатель, мало искушенный в деле литературного мастерства.

Дело здесь, конечно, не только в памяти (кстати, память у Гайдара после контузии во время гражданской войны была несколько нарушена), но

в отношении к слову. Каждое слово гайдаровской прозы было настолько взвешено, что было как бы единственным для выражения и потому, естественно, оставалось в памяти.

Есть литературный термин «литая проза». Это проза четкая, суровая, в которой нет ничего лишнего: ее можно отливать из бронзы, даже из золота, и ни единая крупица драгоценного металла не пропадет зря, на пустое слово.

Гайдар любил идти на пари. Однажды он приехал в Солотчу ранней осенью. Стояла затяжная засуха, земля потрескалась, раньше времени ссыхались и облетали листья с деревьев, обмелели озера и реки, и черви ушли очень глубоко в землю. Ни о какой рыбной ловле не могло быть и речи. На то, чтобы накопать жалкий десяток червей, надо было потратить несколько часов.

Все были огорчены. Гайдар огорчился больше всех, но тут же пошел с нами на пари, что завтра утром он достанет сколько угодно червей — не меньше трех консервных банок.

Мы охотно согласились на это пари, хотя с нашей стороны это было неблагородно, так как мы знали, что Гайдар наверняка проиграет.

Наутро Гайдар пришел к нам в сад, в баньку, где мы жили в то лето. Мы только что собирались пить чай. Гайдар молча, сжав губы, поставил на стол рядом с сахарницей четыре банки

великолепных червей, но не выдержал, рассмеялся, схватил меня за руку и потащил через всю усадьбу к воротам, на улицу. На воротах был прибит огромный плакат:

СКУПКА ЧЕРВЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ!

Этот плакат Гайдар повесил поздним вечером. А утром около калитки уже бушевала толпа мальчишек с жестянками, полными червей. Шел жестокий торг, но в конце концов мальчишки согласились отдать червей по цене в три рыболовных крючка за жестянку.

С тех пор мы были всегда с червями, но перестали держать с Гайдаром пари. Это было бессмысленно, потому что он всегда выигрывал.

Он всегда был полон веселья, Гайдар. Искорки смеха роились в его серых глазах и исчезали редко — или во время работы, или в тех случаях, когда Гайдар сталкивался с карьеристами и халтурщиками. Тогда он становился жесток, беспощаден, бледнел от гнева.

Спуску он никогда не давал. Он приходил в ярость от мышинной возни маленьких и злых от неудовлетворенного тщеславия людей. Он преследовал их едкими стихами и беспощадными эпиграммами. Его боялись.

В Солотче Гайдар изучал французский язык.